

**РУССКАЯ ХАНДРА. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК.
Поэзы. Предисловие ФЕДОРА СОЛОГУБА. К-во «ГРИФ»**

Стихотворения Игоря Северянина – не новость. Уже в течение нескольких лет молодой поэт издавал свои тоненькие книжечки (кажется, около 30), считая себя главой "эгофутуристов", - с трогательными объявлениями на задней стороне коричневых обложек, что интервьюеров он принимает в такие-то дни и часы, знакомых дам - в такие-то, молодых поэтов, приходящих за советом, в такие-то. Если верить этим объявлениям, то он был уже широко известен кому-то до этого года, и только теперь Федор Сологуб представляет его всем русским читателям, написав предисловие к его избранным стихам и, надо думать, приняв близкое участие в составлении сборника: по крайней мере, название его, кажется, вызвано предисловием, а не обратно. Сологуб говорит в этих нескольких вступительных словах, что он любит стихи молодого поэта, как "грозу в начале мая". "Люблю грозу в начале мая... Люблю стихи Игоря Северянина. Я люблю их за легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенной воли упоенной души поэта... Стихи его такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие"...

Можно не продолжать - смысл ясен; Сологуб открыл поэта "легкого и сверкающего". Тот, кого истомила самая тягостная из всех скук, какие когда-либо в нашей литературе снились, кто создал для русского общества - рядом с вдохновенным культом смерти - злое издевательство над его пошлостью - Передовнова, приветствует в новом поэте "грозу в начале мая". Он не обращает внимания на "неверности с правилами пийтики", - "раздражающими и дразнящими", они ему "нравятся", - и он объяснил, почему.

Так смертельно заскучала душа современности, так ждет она "раскатов первого весеннего грома" -

Дождалась ли? Гроза ли это?

Сам о себе молодой поэт думает, с одной стороны, очень высокомерно, с другой - очень скромно. С одной - он называет себя "гением Игорем Северянином", - "северным бардом", открывающим новые пути, и, конечно, не признанный людьми посредственными, его не понимающими, с другой - он думает, что он только один из многих, предвещающих грядущего и близкого поэта, который "всех муз былого в одалисок, - в своих любовницах претворит и, опьянен своим гаремом, сойдет с бездушного ума". Это и есть исповеданье самого Игоря Северянина, - он ставит себе в заслугу, что он не признает "бездушных книг", "несносной поступи бездушных мыслей", "рассудочного льда", "расчета лабораторий". Он "спрятал в грудь солнце", "он парит в лазоревом просторе со свитой солнечных лучей..." Отсюда и его стиль - невыдержаный, действительно капризный, по большей части - необыкновенно легкий. Главный его каприз – неологизмы, недаром он называет себя потомком Карамзина. Эта родословная - очень поучительная вообще, но в отношении неологизмов она может быть и лестной, и нелестной: неологизмы древнего сентименталиста не отличались особой выдумкой, но

зато стремились к русификации противного словаря - еще елизаветинского происхождения щеголей, французивших в русской речи самым безвкусным образом. Каприз "потомков Карамзина" выражается, к сожалению, в стремлении французить там, где давно уже привыкли говорить по-русски, а иногда и в смешении французского с нижегородским. Новые же его слова с русскими корнями составлены по двум-трем шаблонам, заранее взятым, поэтому пестрят однообразно и надуманно. Свои стихи он называет "поэзами", "миньонетами", "лиризами", ассо- "сонетами", "интуитами" и пр.

Через два обыкновенных слова на третье - прибегает к таким выражениям: "Лимонно-листый лес драприт стволы", "овесенненый ребенок", "комната утрела", было майно", "мечты отропили сердце", "upoенно униться", весна бравурит", "популярит изыски", "огимнить эксцесс в вириле", "ножки надо окалошить", "он готов осупружиться", "мечты сюрпризерки истомленно лунятся", "женоклуб" и т. п.

И все это заключено в стихи – звонкие и поющие, но не новым, воздушным, прозрачно-беззаботным пением, а той особой звонкостью, которая слышит сама себя, сознает себя, не подобно "птичке беззаботной", а очень сознательно слагающейся возвучия, рассчитанным подъемом и падением гласных, намеренным соединением согласных, соблазнительными ассонансами и другими словесными соблазнами, которые усиленно развивались у нас под влиянием стихотворческой виртуозности Бальмонта. Я не хочу сказать, что Игорь Северянин рассудочнее многих, но он рассудочен, как и все; в нем нет той непосредственной свежести, которую хочет видеть в нем Сологуб, сам истомившийся от сознательности, - истомившийся и обрадовавшийся, как ребенок, поэзии, которая показалась ему ребячливой, младенчески-ясной!

Это искание младенческой ясности, свежести, наивности, проходит через наше художественное сознание уже довольно давно - с тех пор, как наша поэзия стала сознательной по преимуществу, т.е. с тех пор, как она объявила себя символической. С тех пор и начались мучительные поиски непосредственности, сначала оставаясь в пределах романтических, - и здесь развился культ Блока, который сам томился тоской по жизни; потом эта тоска сказалась в увлечении мифологизмом Городецкого; в прошлом году была сделана попытка найти нового Кольцова в Клоеве; в этом году открылась борьба "акмеистов" с символистами против их отвлеченности, - наконец, сейчас один из отвлеченнейших наших поэтов предлагает нам "легкую" поэзию Игоря Северянина.

Сологуб не совершенно не прав, так же как правда была и в увлечении Городецким: Вяч. Иванов, философ в стихах, бессильный сложить песню, слагая лишь философические *стихотворения*, - у его ученика - Городецкого сказался дар вольной песни; Сологуб, тоже бессильный сложить вольную песню, слагает изречения и молитвы, - у Игоря Северянина есть дар пения, более непосредственный, м. б., чем у Городецкого, "певшего" по Вяч. Иванову. Но в этих певучих стихах нового поэта, - именно нет той внутренне "улыбчивости", того, что Сологуб хотел бы видеть в них, называя их

"вдохновенными по происхождению".

Игорь Северянин - не дитя, он сознает себя. Сознает и звон своих стихов, и его переливы, и свои словарные новшества. Он хорошо и точно воспринимает окружающее, поэтому он умеет "описывать" природу, - редкий дар у лириков в настоящее время... Но и этот все не так важно, все это можно было бы в разной степени оспаривать; но вот что бесспорно, - это та внутренняя подпочва, которая лежит, как тяжелая залежь подо всей, принципиально исповедуемой им - его интуицией, под признанием солнца, горящего в небе и "спрятанного в груди", - это то, что лежит глубже его собственного сознания, - прорываясь, однако, сквозь его звонкие строфы, иногда скрыто за образами, - иногда в случайных точных формулах. Это та же тоска по жизни, и, кажется, еще более резкая - тоска - *от жизни - скука!*

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину -
Короче - русская хандра...

У Онегина были предки, - утверждал Ключевский; пришли и потомки, - как давно уже говорил Добролюбов. Менялись условия, видоизменялся соответственно и тип, но, по существу, он все тот же, потому что те же, в сущности, своей остаются условия; и еще сам Пушкин варьировал этот национальный "недуг" в другом месте:

Мне скучно, бес! - Что делать,Faust!
Таков вам положен предел...

Обложка книги стихов Игоря Северянина напечатана сиреневыми буквами. Второй отдел, центральный в книге, называется "Мороженое из сирени"; первый, вступительный к нему - "Сирень моей весны". Сирень в разных вариантах упоминается во всей книге как "эмблема сладострастия" - наряду с лилиями, конечно, эмблемами невинности. В первом отделе излагается история "страсти весенне" - *ars amandi*. Эта "сирень весны", очень скоро отцветшей, как всякие цветы чувственности; "мороженое из сирени" и заключает в себе исконную русскую хандру - в новой разновидности, очень современной: наружно-жизнерадостную и даже бурную, а внутренно томящуюся, если вникнуть в эту юношескую поэзию, в ее душу, не считаясь с ее словесными затеями. После первой помещенной в сборнике, чувственной по смыслу и холодной по выражению, пьесы, - мы читаем вызывающую самим своим мотивом чувство элегическое, третья пьеса - гораздо радостнее. Вот энергические строки из нее:

...Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на "ты"..."
Какой простор, какая воля,
Какие песни и цветы!

.....
Шумите, вешние дубравы!
Расти трава! Цвети сирень!
Виновных нет: все люди правы,
В такой благословенный день!

Но разве эти заключительные слова - не слова самоубеждения? Не отказ от печали на один день? Четвертое стихотворение называется "В грехе - забвенье", и, прочитав его, внимательный читатель уже не забудет его, дочитывая дальше всю книгу.

Вся радость в прошлом, таком далеком и безвозвратном,
А в настоящем - благополучье и безнадежность,
Устало сердце и смутно жаждет в огне закатном
Любви страсти - его пленяет неосторожность.

О "благополучье" упомянуто не случайно; в следующей строфе оно повторяется:

Устало сердце от узких рамок благополучья,
Оно в унынье, оно в оковах, оно в томленье.
Отчаясь верить, отчаясь грезить, в немом безлучье
Оно трепещет *такою скорбью...*

"Жизнь чарует и соблазняет", но "сердце в смущенье": "Оно боится... благополучье свое нарушить. Но жизнь проходит - смерть неизбежна - сердце человека одиноко и не чувствует связи со вселенной. И вот выход: благополучью противопоставлено безумье одинокого сердца; добродетели - грех, в котором забвенье от скорби:

"О, сердце, сердце! - твое спасенье в твоем безумье!
Гореть и биться, пока ты можешь, - гори и бейся!
Греши отважней! - пусть добродетель - уделом мумий:
В грехе забвенье, а там - хоть пуля, а там - хоть рельсы!"

Теперь уже ясно, и не читая до конца; но у кого есть еще сомнение в том, что перед нами новый Онегин со старой русской хандрай, с возможностью забыться лишь в нарушении обычностей, в случайных развлечениях, в случайных жестокостях, - пусть прочтет и конец стихотворения. Это не та смертельная скука, которая переходит в озлобление к жизни, и ждет смерти - как у Лермонтова. Она способна себя тешить - это именно хандра:

Больное сердце!..
...Живя, ты право! Сомненья - мимо!
Ликий же, сердце! - еще ты юно!
И бейся шумно!

Так новый эпикуреизм вырастает на почве старой "душевной пустоты".

Весь первый отдел книги - малосамостоятельный, хотя и очень искренний, напоминает по манере кумираво автора – Фофанова и Лохвицкую - в стихах таких же звучных, но часто - таких же тривиальных. Отмечу только, что именно в этом отделе есть живые черты "пейзажа и жанра" - указание на реалистическое настроение поэта, чуждое отвлеченной символики.

Жду, не дождусь весны и мая,
Цветов, улыбок и грозы,
Когда потянутся, хромая,
На дачу с мебелью возы...

"Хромота" еще лучше в другом месте и в другом смысле; - в пьесе осенней:

Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса.

такие "тютчевские" черты, как "морозом выпитые лужи" - в том же описании дальше, - можно отметить во многих стихотворениях, к сожалению, редко выдержаных. В "деревне", где скучал Евгений, как характерно сказано в эпиграфе к одной из пьес этого отдела, ему случалось сближаться и с народом, больше всего - наблюдая русские праздничные нравы, а иногда самому, заражаясь бодрящим воздухом летнего утра, - почувствовать себя "вольным сыном природы", заигрывая с "поселянками". Одна из пьес названа "Русская". Это интеллигентская "Комаринская", сочиненная русским барином, ищащим забвения от скуки в деревенских удовольствиях:

Кружевеет, розовеет утром лес,
Паучок по паутинке вверх полез.
Бриллиантился веселая роса:
Что за воздух! что за свет! что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушенка и осу.
Слушать сонного горлана - петуха,
Обменяться с дальним эхом: "ха, ха, ха!"
Ах, люблю в березках девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень,
Пробудить ее невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесен,
Обхватить ее трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни как-нибудь!

В такой же французско-нижегородской, но остроумной манере, написана и "Пляска Мая" и "Chanson russe"... Вспомните некрасовского "русского путешественника" по крепостным деревням: "Я путешествовал

недурно. Русский край оригинальности имеет отпечаток..."

Зато в городе новый Онегин чувствует себя еще больше самим собой, чем старый, пушкинский. Хандра ждет его здесь даже "на страже" - она прямо распоряжается его душой, определяет каждое минутное его настроение. Это и есть второй отдел книги - "Мороженое из сирени"... короче - русская хандра!

"Усталое сердце" "plenяет неосторожность", "безумие", "грех", а "там - хоть пуля, а там - хоть рельсы!" Этому, до смерти скучающему внутри себя, эпикурейскому самозабвению и предается новый Онегин в городе; и эту невеселую игру жизнью выражает в звуках, на самом деле очень свободных, но словами еще более пестрыми. В пьесе "Фиолетовый транс" поэт говорит, как, выпив однажды "фиалковый фиал грез фиалок" "лилии ликеров"! - *Creme de Violette*, он "приказал немедля подать кабриолет", и "вздрогнувший мотор, как жеребец заржавший, пошел на весь простор", а "ветер восхищенной" сорвал с головы поэта его берет:

Я приказал дать "полный". Я нагло приказал
Околдовать природу и перепутать путь!
Я выбросил шоффера, когда он отказал, -
Взревел! и сквозь природу - вовсю и как-нибудь!

Встречалась ли деревня, - ни голосов, ни изб!
Врезался в чернолесье, - ни дерева, ни пня!
Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз б!!
Я опьянял грозово, все на пути пьяня!..

Если вообще можно оправдывать жестокости, то шоффер был выброшен не напрасно опьяневшим поэтом: безумная поездка на автомобиле кончилась "благостным исходом" –

И вдруг, безумным жестом осталоблен кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад...

И все изменилось в душе, обезумевшей от скуки, не знающей куда себя девать, что выдумать, чтобы ее залить:

Я упоен. Я внешний. Я тихий. Я грезер.
И разве виноват я, что лилии колер
Так редко можно встретить, что путь без лилий "сер"...

Итак, вот отчего "грезер" выбросил шоффера, и вот почему "грезерки" бесцельно качаются в "гамаках камышовых", в которых "стоит лишь повернуться":

И загрезиться сердце:
Все на свете возможно, все для нас ничего;
Покачнетесь вы влево, -
Королев королева,

Властелинша планеты голубых антилоп...

.....
Покачнетесь вы вправо,
Улыбнется вам слава,
И дохнет ваше имя, как цветы райских клумб...

Это бегство от жизни, от ее скуки, от "серых путей" в мечты, - а жизнь пусть идет себе как попало!

Шампанского в лилию!
Ее целомудрием святоеет оно...
.....
Я славлю восторженно Христа и Антихриста
(Что нам до них!),
Душой, обожженою восторгом глотка!
Горлубку и ястреба! Ригстаг и Бастилию!
(Что и до них?),
Кокотку и схимника! Порывность и сон!
В шампанское лилию! Шампанского в лилию!..

Но – больше всего, еще больше, чем мечты и лилии, - чувственность! Чем изысканнее, чем мгновеннее, тем вернее: вдруг хандра и уйдет со своей проклятой "стражи"!.. Но она не уходит, как бы ни становилась "душа-грезера, - как рай - нелепа":

"О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется..."

Нет, не развеивается. Все безвыходно кончается следующим, как называет поэт, "квадратом квадратов", напоминающем по смыслу прежнее "в грехе забвенье":

"Никогда ни о чем не хочу говорить...
О, поверь! - я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом, - палачу не парить...
Точно зверь заплутал меж поэм и тревог...
Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О, поверь! изнемог я совсем и т.д.

Следующая за этим фатальным "квадратом" пьеса еще вразумительнее названа: "*В предгрозье*". Вы вспоминаете при этом предисловие Сологуба о "грозе в начале мая". Вот настояще название для всей книги! Молодой поэт, несомненно, владеет даром поющей речи - но это поет скучающая в "предгрозье" душа, и потому она поет не просто, - а с хитростями и фокусами - от скуки душной. В поэзии его не слышны раскаты грома - даже отдаленные, и книга его - не громокипящий кубок, уроненный с неба. Когда пронесется гроза, упадет ее кубок - поэзия великой веры и счастья!

А пока остается - от скуки, не зная, куда девать себя, отдавать "наглые приказания" шофферам и слагать демонические приветствия "агасферам морей":

Вижу, капитан, "Скитальца-Моряка",
Вечный странник,
Вижу, как твоя направлена рука
На "Titanic"..."
Верю, капитан "Голландца-Летуна",
Враг боязни,
Верю, для тебя - пустить корабль до дна -
Страстный праздник...
.....
Руку, капитан, товарищ по судьбе
Мой дружище!

"Что делать, Фауст! таков вам положен предел (удел). Вся тварь
разумная скучает... Зевай и ты!..." - "Все утопить!"

Так переживается наше предгрозье.